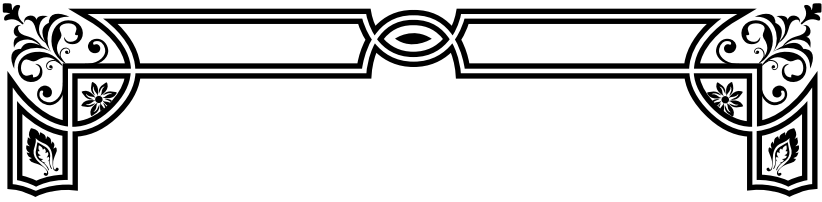


Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра...
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок неожиданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Пушкин

Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь на рассуждения, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первою причиною к успехам россиян: ибо при самой тяготе ига чужестранного сии качества в них не воздремали. О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!

Радищев



Пролог

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

Полежаев

Весной 1688 года, к Егорью-вешнему, что праздновался на Руси в конце апреля, двинские полье, разливные воды уже успели вынести весь речной лед в Белое море. Тотчас же задули ровные теплые ветры, разогнали низкие тучи, выглянуло солнце, заиграло на воде, на мокрых серебристых стволах берез, на куполах церкви Сретенья в Николо-Корельском монастыре, что издавна стоит над Никольским устьем Северной Двины.

Под теплыми сырими ветрами лопались березовые почки, наливались соками листы ивняка; двинские луга день ото дня все обильнее заливало густо-зелеными травами.

На Иоанна Богослова, в погожее утро, прибрежной дорогой из монастыря в город Архангельск проскакал всадник — за служниками обители, промышленниками и рыбаками, морского дела старателями, нанятыми монастырским келарем для дальнего плаванья на Новую Землю — на Матку. Еще зимою служники получили от монастыря по мешку хлеба, крупы, соли, уксусу, масла да деньгами по пять алтын на душу. Нынче наступало время расплаты.

Отгуляв в Архангельске два прощальных дня, морского дела старатели под вой и причитания баб большой ватагой, человек в полста, отправились править службу. Сзади, чтобы кто не сбежал дорогою, ехали на конях два монаха с длинными плетями, зорко поглядывали на шагающих с песней поморов. Народ постарше шел степенно, с посошками, закинув за спину бере-

стяные коробки со снедью. Молодые перешучивались, дразнили монахов, прикидываясь, что убегают...

В попутных деревеньках артель отдыхала не подолгу, толковала с мужиками, смолившими по берегам свои лодьи и карбасы, о пути на Новую Землю, о тамошних промыслах, о том, как бить моржа. Мужики рассказывали были и небылицы о монастырских лодьях, что изготовил к спуску лодейный мастер Тимофей Кочнев, по кличке Редька. Одни говорили, что лодьи трехмачтовые, тысяч на десять пудов, другие божились, что поболее, третьи рассказывали, что поведет всю ватагу в море нынче не дед Мокий, а другой кормщик, из молодых, кто — доподлинно неизвестно.

У белых стен обители, возле ворот, служников встретил монастырский келарь отец Агафоник, с ним стояли старик кормщик Мокий и маленький жилистый Кочнев. Служники оборвали песню, поклонились. Поклонился и Агафоник. Знал: поморы спину гнуть не любят, на поклон отвечай поклоном; коли не ответишь чинно, с уважением — пеняй на себя.

— Поздорову ли дошли, детушки? — спросил дед Мокий, радостно оглядывая статных, плечистых рыбаков, многих из которых он знал еще ребятишками-зуйками.

— Дошли — ничего! — сильным и низким голосом ответил за всех молодой кормщик Рябов. — Ты-то здоров ли, дединька?

Мокий снизу вверх посмотрел на Рябова, улыбаясь покачал простоволосой сивой головой.

— Чего качаешь? — тоже улыбаясь, спросил кормщик. — Али чем не угодил, дединька?

— Здоров же ты, внучек, — любясь молодым кормщиком, произнес Мокий. — Ишь, здоров! Сиротою, на тресочке да на хлебushке, а как взошел. Вон вымахал, что сосна мачтовая...

Он обернулся к Агафонику, сказал ему со значением:

— Об нем и говорено было давеча, отец келарь. С малолетства в море, хоть и молодешенек, а всего хлебнул, компас знает, по звездам хаживал, артель за ним куда хочешь пойдет...

Агафоник кивнул, велел народу сложить котомки и идти на работу. В монастыре служников даром не кормили...

К вечеру из ворот монастыря вышел игумен в облачении, сопровождаемый братией. Монахи шли попарно, опустив голо-

вы в клобуках. Сладко запахло ладаном. Игумен кропил суда, назначенные к спуску, святой водой, позвякивал кадиллом, монахи пели сытыми голосами. Морского дела старатели в белых чистых рубахах, в сапогах, бахилах, усталые за день, стояли поодаль, позевывали. Подручный мастера Кочнева — дядя Ермил, чернобородый, всклокоченный, измазанный смолою мужик, — негромко жаловался Рябову:

— Монастырю служить — помереть легче. Казны полны амбары, а они всё скупаются. Корелин Иван Кононович четыре дня с ними ругался! Кочнев вовсе извелся с ними, с живоглотами. Говоришь Агафонику, черту злomu, что-де для океанского хода суда, на Грумант идти, на Матку, на другие дальние земли; большой-де прибыток обители будет, — не слушает! За каждый железный гвоздь душу вытрясет. На эдаких лодьях сколь вы одного рыбьего зуба монастырю привезете...

— Не им в море идти! — сказал кормщик. — Им на бережку сидеть, Богу молиться.

Молебен кончился, Ермил побежал к мастеру Кочневу, понес ему топор на длинном топорнице — выбивать подпоры. Лодьи, назначенные к спуску, без мачт и без оснастки, стояли на городках из бревен у самой воды на пологом берегу Двины. Чреватые, просмоленные огромные днища словно просились, чтобы скрыли их в море.

— И то пора! — сказал дед Мокий. — Лодьи Тимофей добрые выстроил, река в заливной воде убывать начала, самое время к спуску. Оснастим, да и пойдешь, Иван Савватеич, в море; люди говорят, от льда очистилось, живет наше морюшко...

Кочнев взял у Ермила топор, поплевал на ладони, вздохнул. Оба — мастер и подручный — вместе подняли топоры, в лад ударили по бревнам, подпирающим корму судна. Лодья качнулась на огромных, смазанных ворванью деревянных полозьях, поползла кормою к воде. Морского дела старатели, затаив дыхание, без шапок, смотрели, ладно ли спускается судно. Ловко спущено — жить год без горя. А случись что при спуске — готовься к беде.

— Ладно закачалась! — сказал дед Мокий. — Добрый тебе путь будет, кормщик!

Едва спустили первую лодью, как плотники начали поднимать на ней мачту. За первой спустили еще — двухмачтовую,

за ней — третью. Над рекою впереворот, весело застучали топоры, еще многое надо было доделать на плаву. Пригнанные из города служники вместе с монастырскими плотниками работали белыми ночами, не только днем. Тимофей Кочнев, исхудавший, с бороденкой торчком, сухой, жилистый, быстрый, сам снастил суда, ругался с келарем Агафоником, грозил ему, что вот-де приедет от Москвы Иван Кононович, быть большому шуму. В оснастке Кочневу помогал Рябов; дед Мокий более сидел на бережку, глядел на белокрылых чаек, размышлял. Ноги уже худо слушались старика, подниматься на лодьи ему было трудно.

Когда у Рябова выдавалось свободное время, он подсаживался к старому кормщику, выпрашивая его обо всем, что тот испытал на своем веку, внимательно слушал поучения.

— Во льды попадешь — не робей! — учил Мокий. — Что плохому по уши — удалому по колена. Ты льдов берегись, а коли попал — не робей. Торосья идут, визг, стон, одна дума — живым не протолкаться. А ты той думе ходу не давай. Лодейные наши мастера люди головатые, от дедов строят суда так, что раздавить их трудно, днища-то примечал какие? Словно яйцо! Вот и размышляй. Да ведь не впервой тебе — бывал тертым, тогда вместях попали... Далее слушай: ежели зазимуете, мой тебе совет, детушка: всю ватагу в великой строгости держи, чтобы люди сном не баловались али тоской-скукой. Пожалеешь — похоронишь. Народ наш промысловый недаром об зимовьях со скорбью рассказывает: люди мрут — нам дорогу трут, передний-де заднему — мост на погост. Строгость, Иван Савватеич, в беде первое дело.

Рябов вдруг засмеялся.

— Чего веселишься? — удивился дед Мокий.

— Как мы в запрошлом году с тобой, дединька, зазимовали, вспомнил! — сказал Рябов. — Повалился я тогда спать, а ты меня веревкой, веревкой...

Дед тоже засмеялся, добрые морщинки собрались возле его глаз.

— Осерчал ты в ту пору...

— Осерчал, да живой остался. А ты меня, дединька, погнал моржовое сало беречь...

Мокий засмеялся пуще:

— Было, было. Повадился к нам ошкуй моржовое сало пить...

— Пудов пять зараз тот медведь выпил! — сказал Рябов. — Я его, клятого, свалил, а ты сразу с бочкой. Переливать, дескать, обратно, пока горячее...

Подошел Кочнев, спросил:

— С чего смехи-то?

— Да вот ошкуя вспомнил! — сказал Рябов. — На Новой Земле дело было. Что ж, скоро ли пойдем, господин лодейный мастер?

Кочнев подумал, ответил не сразу:

— Надо бы к воскресенью.

...В ночь на субботу все шесть лодей — три новые и три старые — были готовы к дальнему морскому пути. Монастырский отец-оружейник выдавал служникам-промышленникам снасть для боя моржей по счету, — железо ценилось дорого. Другие служники вереницей несли на суда двухгодичной запас: муку в кулях, бочки с крупами, соль, масло. На льдах в каютах-казенках ради сырой погоды топились печи; люди, готовые к выходу в море, уже жили не на берегу, а на судах.

Рябов, в накинутом на широкие плечи суконном кафтане, в рыбацких, до бедер, юфтовых, промазанных ворванью сапогах-бахилах, в вязаной фуфайке, стоял у схода, негромко разговаривал с мальчиком-подростком лет четырнадцати. Мальчик был в порыжелом подрысничке, в скуфейке, черные его глаза горячо смотрели на Рябова.

— За кулями и схоронишься! — говорил Рябов. — Никто тебя, детка, не приметит. Заснул на лодье, а как в море выходили — не услышал. Всего делов...

Мальчик кивнул черноволосой головой и спрыгнул на лодью.

— На корму иди! Слышь, Митрий? — крикнул Рябов.

Мальчик, хромя, скрылся за бочками и кулями.

— Загрызут его здесь! — сказал Рябов Мокию. — Толмачит на иноземных кораблях, а какая парню польза? Он толмачит, а что денег заплатят, то — на монастырь. Прошное лето, как мы в море ушли, он здесь вовсе оголодал...

Мокий вздохнул:

— Сирота, кому не лень, тот и по загривку. Выучится — добрым мореходом станет.

— Он и то грамоте обученный, — сказал Рябов. — И письменный, и компас знает. Где в море перевал, где курс сменяем, глядишь, напишет, а после и прочтет. И себе добро, и другим не без пользы.

Утром в воскресенье, после того как отстояли молебен для плавающих и путешествующих, келарь подошел к толпе служников, поклонился, попросил к отвальному столу — не побрезговать дедовским обычаем. Стол был поставлен в монастырской трапезной — это означало выход в море, прощание со своей землей надолго. Под образами в красном углу сел только нынче приехавший лодейный мастер Корелин Иван Кононович, славящийся своими лодьями по всему Беломорью, справа от него келарь Агафоник, слева дед Мокий, рядом с ним Кочнев — ученик Ивана Кононовича. Инок у наложя прочитал молитву, Рябов шепнул Кочневу:

— Всё молятся монаси! А как вдовам рыбацким мучки али малица — не дожدهшь!

После молитвы послушники, опустив глаза, налили из глиняных кувшинов водку в кружки — рыбакам и промышленникам, кормщикам и лодейным плотникам. Выпили по единой — первой, народ заговорил бойчее, языки развязались, посыпались шутки.

Попозже, когда народ расшумелся, дед Мокий громко спросил у келаря Агафоника:

— А ведаешь ли ты, отче, как гуси летят в поднебесье?

Монастырские служники сразу затихли, ожидая шутки, но дед смотрел на келаря невесело, почти сурово.

— Летят и летят, как от Господа велено! — ответил келарь.

— То-то, как велено! Крылья раскинут, носы вперед, ну и летят! Верно, летят напрямиком! И артель свою, ватагу, завсегда вожак ведет...

В трапезной стало совсем тихо, народ посматривал то на Мокия, то на молодого Рябова.

— И быть вожакom в ихнем деле — самому сильному, ловкому, смышленому, иначе вожак первым в океане-море от устатка повалится, — так говорю? Далече лететь из теплых краев, отче, к нам — на Колгуев, да на Моржовец, да на Вайгач, ох далече. Суди теперь сам — куда обитель твоя нас посылает! Не

в близкие места. На Новую Землю идти морского дела старателям, на Матку. Тебе отсюда-то все видится близко, а мы знаем — не впервой туда парусом бегаем... Вожак ватаге надобен.

— Тебе и быть первым кормщиком, — осторожно ответил Агафоник. — Как хаживал — так и ныне пойдешь.

— Нет! — покрутил сивой головой Мокий. — Отходил я свое, отче.

И, оглядев застолье, дед громко, суровым голосом спросил:

— Люб ли вам, братцы, первым кормщиком Рябов Иван сын Савватеев?

Люди отвечали не торопясь, один за одним, спокойно, вначале старики, потом кто помоложе.

— Люб Иван Савватееч! — сказал рыбак Копылов.

— Хорош малый, люб! — кивнул черный, с острым взглядом кормщик Нил Лонгинов.

— Люб!

— Ставить кормщиком над ватагой!

— Люб нам Иван сын Савватеев!

— Отец его первым кормщиком ходил, нынче — ему...

— Пусть ответ говорит!

— По обычаю, как повелось!

— Как от дедов на Беломорье заведено!

Рябов встал с лавки, упершись могучими руками в стол, поклонился народу на три стороны, поблагодарил всех тех, с которыми не раз хаживал в море, сказал, что велика ему честь. Народ загудел, что просит честь принять. Рябов молча поворотился к деду Мокию, который с волнением ждал этой минуты. Много лет тому назад другой старый кормщик так же передавал артель молодому Мокию, как нынче дед Мокий будет передавать ее Рябову.

Не торопясь, негромко Мокий начал задавать вопросы:

— Спопутие ведомо ли тебе, Иван Савватееч?

— Ведомо, дединька! — спокойно и уверенно ответил Рябов.

— Глыби морские, луды, кошки, мели — ведомы?

— Так, дединька, ведомы.

— Волны злые, ветры шибкие, волны россыпные ведомы ли?

— Ведомы, дединька!

— Пути лодейные дальние на Грумант, на Матку, на Колгуев, в немцы, вверх в Русь ведомы ли тебе, кормщик?

— Ведомы, дединька!

— Звезды ночные, компас ведаешь ли?

— Ведаю.

— Поклонись ли честным матерям рыбацким, женкам да малым детишкам, что покуда жив будешь — не оставишь рыбаков в морской беде?

— Поклонюсь, дединька!

Дед Мокий расстегнул сумочку, что висела у него на поясе, достал оттуда старый, вделанный в пожелтевшей кости компас, положил его перед Рябовым, сказал строго:

— Артельный!

— Ведаю.

— С ним и пойдешь. Компас добрый...

Лицо старика совсем посуровело. Рябов опустил голову, легкая краска заиграла на его скулах.

— Кажись бы, и все сказано, — произнес Мокий, — да еще об едином надобно помянуть...

Он вздохнул, вздохнули и другие, — многие из сидящих за столом знали, о чем речь.

— Я тебе не в попрек, — не глядя на кормщика, сказал Мокий, — я для бережения сказываю и по обычаю: полегче бы, Иван Савватеевич, с зеленым вином. Куда оно же?

Рябов молчал.

Дед еще вздохнул, мягко, без укора добавил:

— Набуянишь во хмелю — и пропала буйна голова. Ты вникни, детушка, рассуди: горю оно, проклятущее, никак не поможет, а сколь многие наши Белого моря старатели на нем жизни лишились...

— А ежели она не в радость бывает, жизнь, — тогда как? — негромко спросил кормщик и помолчал, ожидая ответа.

Мокий хотел было что-то сказать, даже поштал губами, но вдруг махнул рукой и поднялся. Сразу зашумев, поднялись остальные...

Из трапезной морского дела старатели вышли после обедни. Небо затянуло, шел мелкий дождик, чайки, широко распластав крылья, с криком носились над Двиной. Народ рассыпался по лодьям, заскрипели ворота, подымая якоря.

— На Новую Землю все шесть? — спросил Иван Кононович, оглядывая суда.

— Туда! — ответил Кочнев.

— Много нынче.

— На Грумант от Пертоминской обители, слышно, ныне побегут четырьмя лодьями. На Колгуев посадские с Онеги собираются — лодей не менее семи...

Иван Кононович поправил очки на мясистом носу, сказал с умной усмешкой:

— Давеча, на Москве, был я на полотняном заводе, говорил с мастерами, как для нас, для поморов, добрую парусную снасть ткать. После, для ради прогулки, забрел на берег речки Язуы. Гляжу — бегают там суденьшко малое, не более нашей двинской посудинки, что женки молоко возят. Челнок! А народу кругом — и-и-и! Силища! Чего, спрашиваю, у вас, православные, стряслось? Тут один с эдакой бородищей, в шубе, в шапке высоченной, мне отвечает: «Царь-де государь Петр Алексеевич от аглицкого ученого немца морские художества перенимает и для того на сем корабле, именуемом бот, упражняется!»

Корелин захохотал, закашлялся, махнул рукой:

— На корабле! Вон оно как! Бот именуемом! Слышал, Тимофей? Хотел я тому боярину слово молвить, да раздумал, ему с коня-то да в горлатной шапке виднее, где корабль и где аглицкий ученый немец...

Они еще постояли на берегу, провожая взглядами лодьи, кренящиеся под парусами на свежем ветру, помолчали, потом пошли к тележке, что поджидала их у ворот обители...

— А какое слово ты, Иван Кононович, хотел боярину молвить? — спросил Кочнев, когда тележка тронулась с места.

— А такое, друг мой добрый, — не сразу ответил лодейный мастер, — хитрое слово: поклонись-де царю, боярин, дабы не от аглицкого ученого немца морские художества перенимал, а к нам бы приехал — в Лодьму, али в Кемь, али в Онегу, али к Архангельскому городу. Недаром-де говорится — Архангельский город всему морю ворот. Есть у нас чего посмотреть...